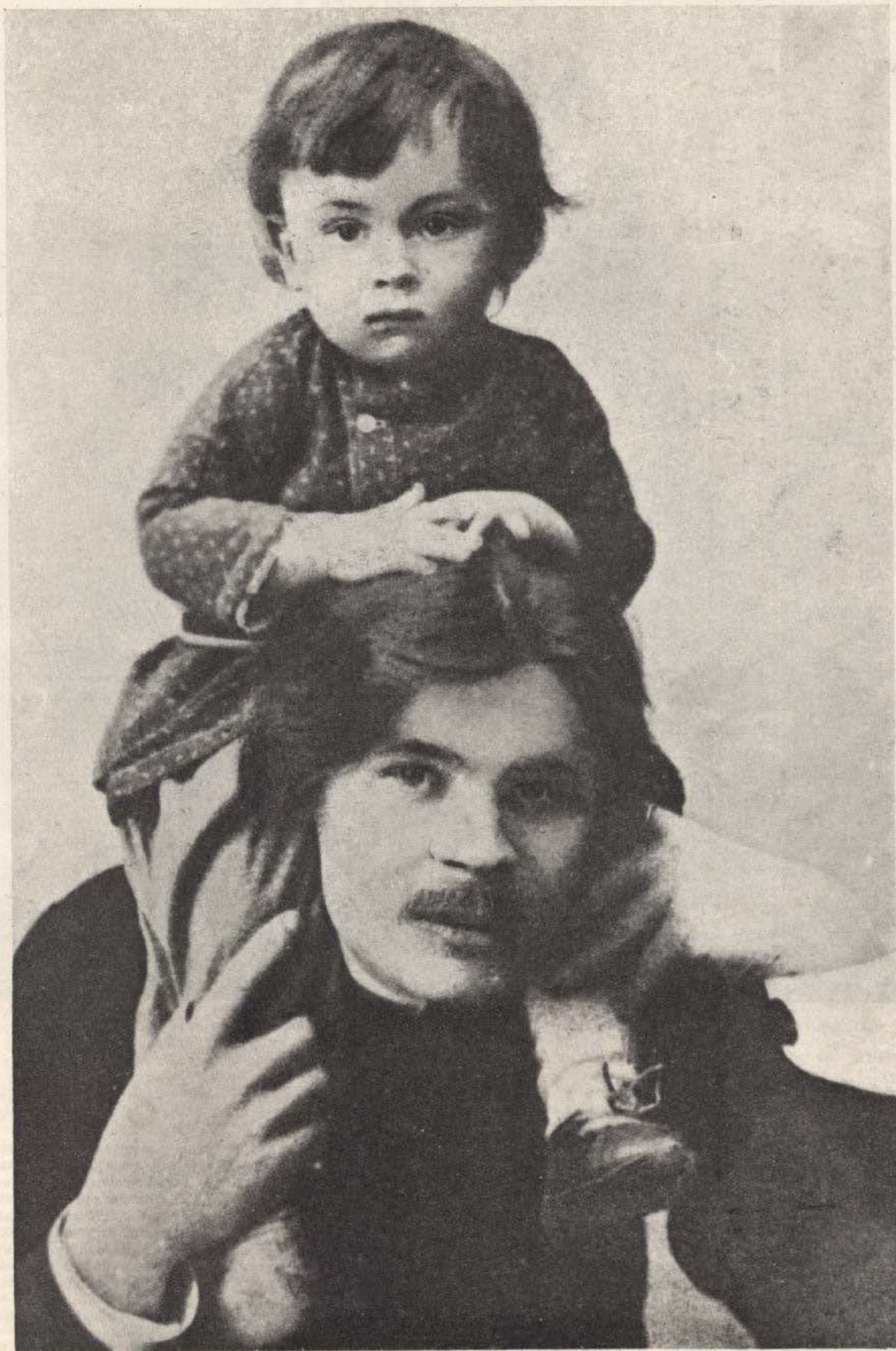


№ 13 (131). 25 марта 1928 года. № 13 (131).



М. Горький со своим сыном Максимом (1902 год).

Настоящий номер „ПРОЖЕКТОРА“ посвящается АЛЕКСЕЮ МАКСИМОВИЧУ ГОРЬКОМУ (Пешкову) по случаю 35-летия его литературной деятельности. Редакция „Прожектора“, вместе со всем рабочим классом Союза Советских Республик и передовыми слоями пролетариата других стран, глубоко чтит первого пролетарского писателя, сумевшего стать лучшим писателем СССР и одним из лучших во всем мире, и желает ему долго здравствовать.



В. Качалов.

ВСТРЕЧИ С ГОРЬКИМ.

Приблизительно в мае 1900 года — слышу я: „Горький, Горький“. Вернулись в Москву мои новые, молодые товарищи по Художественному театру, в который я только что попал, — вернулись из Ялты и Севастополя, куда ездили „в гости к Чехову“ — сыграть там „Чайку“ и „Дядю Ваню“. Вернулись и не сходит с языка у них: „Горький, Горький... Горький сказал, Горький прочел, Горький пропел... А как здорово он „отделал“ этого... А какая у него нежность к Чехову... А как он отхлопал по плечу эту — генеральшу... А как он водку тянет — буль, буль, буль — стаканами, как бурлак, как крчмник волжский... И какой у него чудный рассказ... этот и этот“...

Не помню уж, какими именно рассказами Горького восхищались, но помню, что вся наша молодежь была покорена его обаянием. Чехова в театре уже знали года два, считали „своим“ и любили, как родного. А вот тут появился в театре чужой „дядя“, молодой, занятый, своеобразный, необыкновенный, не похожий по виду на писателя, с новыми, необычными по форме и темам — вещами. Это была большая новость, даже сенсация — в жизни театра.

Осенью того же 1900 года я его увидел в Москве, в театре, днем, во время какой-то репетиции, кажется, „Снегурочки“. По лестнице передо мной поднималась высокая, тонкая, стройная фигура, легко и быстро взлетала через две ступени на третью, несмотря на тяжелые, высокие сапоги. В темно-серой рубашке, подпоясанной ремнем. Очень тонкая талия. Высоко поднятые плечи, длинные космы густых, каштановых волос ударяют по плечам. Бегу за ним, знаю, что это Горький, хочется скорее увидеть лицо. Обернулся на площадке, с кем-то заговорил. Громадные, глубоко-сидящие светло-серые глаза. Пока не улыбается, взгляд суровый, нахмуренный, почти мрачный — от сдвинутых бровей, от резких морщин и складок на лбу и у рта. И скуластость особенная, выпуклая, подчеркнутая впалостью щек, и опущенные вниз усы, торчащие из-под больших, раздутых ноздрей крупного, неправильного и тоже как бы торчащего, вылезавшего вперед носа, густые, длинные, непослушные волосы, зачесанные назад, но все время упрямо спускающиеся



М. Горький (Сорренто).

до бровей, — все дает — т.е. давало мне тогда впечатление — суровости, угрюмости, почти мрачности. Это все — пока он не улыбался. Да, еще забыл: он как-то особенно причмыхивал носом, раздувая ноздри, делал круговращательные резкие движения головой, как-будто ему был тесен ворот рубахи, и при этом как-то угрожающе поводил плечом. Словом — первое впечатление было: „ох, не ласковый ты, дядя“. Казалось, он с трудом сдерживается от нарастающего в нем гнева и раздражения, казалось, каждую минуту он может сказать или сделать что-нибудь резкое и угрожающее, но в то же время ему этого не хочется и от этого он весь такой беспокойный. И, казалось, от этого он ни на кого не смотрит, спокойно и пристально наблюдая и оценивая (как Чехов), а взволнованно перебегает глазами от одного к другому, как бы ища отклика своему беспокойству.

Но, вот Горький улыбается. И начинает казаться, что эта добрая, кроткая улыбка — с притаившейся в ней грустью — есть что-то основное и главное в нем, а суровость, нетерпимость и все прочее такое — это все извне, навешанное, это все, может быть, от случайных настроений.

Какой-то спектакль в Худож. театре. В антракте Чехову и Горькому захотелось выпить пива. Проталкиваемся сквозь толпу в буфет. „Чехов — смотрите — Чехов, а это — Горький, смотрите же вот, вот это — Горький“ — раздается громко им вслед, и навстречу, и прямо в лицо. Спокойно идет Чехов, как будто ничего не видит и не слышит. У Горького лицо уже не суровое, а свирепое, разъяренное. Со сжатыми кулаками, озирается кругом, как затравленный волк. И, наконец, он не выдерживает, и раздается его „знаменитый“ окрик: „А, чорт возьми! Что я вам балерина или утопленник!“

А вот из „другого Горького“. Читает нам — всей труппе свое „На дне“. Прекрасно читает. Живыми встают, сразу запоминаются действующие лица, хотя он не делает даже попыток как-нибудь менять и разнообразить голос или дикцию: все герои у него говорят его слабым, глуховатым баском, все, конечно, „окают“ одинаково, никакой внешней индивидуализации, все, как один, потрясают перед своим носом сжатым кулаком. И тем не менее, — какие все получаются яркие, живые, не смешивающиеся друг с другом, какая правда внутренних характеристик! Какое богатство и разнообразие характерных для каждого лица интонаций! Взрывы нашего хохота покрывают разлитый по всей пьесе юмор. Горький сам, конечно, не улыбается, ничего не подчеркивает, не „подает“ и не наигрывает. Но наш хохот местами становится таким бурным и заразительным, что и автор уже не выдерживает своей серьезности рассказчика, безнадежно машет рукой и смеется сам: „У, чорт, это — правда — смешно“. А когда он стал читать сцену, где Лука напугивает и утешает умирающую Анну, — мы притаили дыхание и наступила чудесная тишина. Голос его задрожал и пресекся. Он остановился, замолчал, смахнул пальцем слезу. Попробовал продолжать, но через два слова — опять замолчал и уже почти громко, откровенно заплакал, вытирая слезы платком. — „У, чорт, здорово, хорошо написано, ей-богу, хорошо“ — говорил он, сконфуженно улыбаясь, сквозь слезы.

Вспоминаю все мои первые годы знакомства с Горьким, и такое получается впечатление, будто он только и бывал либо суровым или гневным, либо кротким, тихим и ласковым. Будто просто — серьезным, спокойным или деловитым я его и не видел. Но, конечно, это не верно; — ведь сразу многого не вспомнишь.

И вот вспоминаются „большие“ дни, и печальные, и волнительно-торжественные. Смерть Чехова, расставание с ним тогдашней читательской массы. Дальше убийство Баумана, его похороны, Пресненская эпопея, вся „Дубасовщина“ — все Московское восстание. Да, тут он был спокоен, серьезен, и даже как-то по своему, особенно деловит в эти дни.

Но приходится хронологически чуть-чуть вернуться назад. Чехов еще жив. Идет первое представление его последней пьесы „Вишневый Сада“. Горький в публике. Чехова чествуют на сцене, долго, торжественно, помпезно. Много в чествовании хорошо, трогательно, тепло. Но еще больше лишнего, плоского, бездарного, почти — юмористического. Много от того самого „многоуважаемого Шкапа“, над которым только что смеялся Чехов в своей пьесе. И минутами Чехов, несмотря на утомление, нездоровье и растерянность от всего этого парада, от количества депутатий, от плохого, большей частью, качества речей — не может удержаться от улыбки. Какой-то высокий тенор начинает с пафосом: „Дорогой, многоуважаемый...“ „Шкап“ чуть слышно подсказывает ему Чехов, хитро и незаметно подмигивая нам, вплотную его окружающим.

— „Чорт их побери совсем, эту публику. Они же его залили своей пошлостью, они же его замучили в конце“ — слышу я возмущенный голос Горького в нашем актерском фойе. И тут же, как бы срывая свой гнев (на эту публику) — обрушивается со всей свирепостью на подернувшегося под руку Миролюбова (редактора „Журнала Для Всех“, в котором Горький тогда принимал близкое участие): Вот, тоже, благодарю вас, завели пошлятину: в последней книжке пустили этого, чорт бы его дра! — богоскисателя Волина (или Волгина, я забыл уже фамилию). Если он опять в следующей книжке будет бормотать о боге, ну вас к чорту всех, и весь „Журнал Для Всех“ — ко всем чертям“. Миролюбов диаконовским и обам оправдывался, Горький на него насккивал со сжатым кулаком, и оба они куда-то скрылись в закулисном пространстве.

Чехов, отдохнувший после оваций тут же на диване, вздохнул и улыбнулся: „Напрасно Алексей Максимович обижает Миролюбова. Миролюбов же чудесный человек. Только он — попovich“ — обратился он ко мне

НОВЫЙ СНИМОК М. ГОРЬКОГО.



Горький в рабочем кабинете.

как бы ища сочувствия и, кажется, не зная, что я тоже попovich. „Попович — продолжал Чехов — чем же он виноват? Поповичи все любят колокола, обожают церковное пение и все такое... Вот и в марксистский журнал он устроил какого-то православного философа. Это все неважно. На это сердиться не стоит“. И, помолчавши и откашлявшись, прибавил: „Вот пусть бы Горький внушил ему, чтобы он на кондукторов не орал и с извозчиками повежливее разговаривал“.

— „Да какой вы редактор после этого!“ — доносился откуда-то из-за кулис возмущенный, глухой голос Горького — „вот вы на эту сволочную публику и потрафляете“...

Берлин. Февраль или март 1906 года. Театр наш там, и Горький впервые выехал за границу. Горький в зените самой широкой популярности. Окружен интервьюерами, корреспондентами, художниками, фотографами. Чуть заметно волнуется, ноздри раздутые, кулак сжат перед своим носом и носом собеседника. — „Объясните ему, переведите же им“, Продолжает здесь дело революции, затихшей и притаившейся в России. Агитирует, что-то организует, собирает средства.

Вот „Вечер Горького“ — в Шарлоттенбурге, в каком-то большом концертном зале. Переполненный русско-эмигрантской и немецкой публикой зал. Горький читает (наизусть, конечно) „Буревестника“, „Песню о соколе“ и что-то еще не помню. Известный немецкий актер Шильдкраут — читает переведенные на немецкий язык какие-то Горьковские рассказы, я читаю „Ярмарку в Голтве“ и что-то еще из его рассказов.

В антракте за кулисами целая компания немецких социал-демократов, взволнованных овациями по адресу Горького, возбужденных, восхищенных, — во главе с молодым, черноусым, веселым Карлом Либкнехтом и тогда уже седобородым, серьезным, очкастым Каутским. А из темноты ложи, ближайшей к сцене, — на Горького, читающего своего „Буревестника“, — внимательно и зорко шурит глаза сын кайзера Вильгельма, и поблескивают в глубине ложи монокли, эпoletы и расшитые воротники его блестящей свиты.

Москва. Зима 1918 года, а может быть январь или февраль 1919 г. Большой концерт в колонном зале, закрытый, т.-е. без афиш, для какой-то специальной профсоюзной публики, или может быть праздник кооперации. Не могу вспомнить. Помню, что до начала концерта с речами выступали Рыков и Томский и что от их имени приглашали участвовать в концерте Янас-Нежданову, Гельдер, Собинова, меня, кого-то еще, — большой был

концерт, затянувшийся за полночь. В антракте, в артистической, на диванчике сидят: Ленин, Рыков и Горький. Прислушиваюсь, разговор идет о новой театральной публике. Говорит Горький, — попрежнему непримиримо относящийся к дореволюционной театральной публике.

„Совсем другое теперь настроение в зрительном зале, совсем другое отношение к тому, что происходит на сцене или на эстраде. Я уж не говорю о рабочей аудитории, эти всегда были замечательной публикой, — но вот и эта публика — (он показал рукой на колонный зал), это ведь вчерашние обыватели — в общем, — тут рабочих мало, — а посмотрите какая разница — между этой сегодняшней и года два-три назад наполнявшей этот зал публикой. Такая серьезность, такая требовательность уже чувствуется, — которая и их всех подтянет“ — он улыбнулся в мою сторону. — „Что же, говорят, сегодня мы еще посидим — после концерта, где-то нас еще будут угощать, — посидим, побеседуем“, обратился он ко всем, окружавшим эту замечательную „троицу“: Ленина, Рыкова, Горького, — тесно прижавшихся друг к другу на маленьком угловом диванчике в артистической комнате колонного зала.

Лица распорядителей и устроителей концерта были смущены и взволнованы. Они шептались друг с другом, ежеминутно бегали к телефонам, призывали на помощь влиятельных чекистов. Выяснялось с каждой минутой все безнадежнее, что тот банкет, на который мы все — участники концерта были приглашены и на который собирался Горький — не может состояться. Это были дни, когда не хватало электрической осветительной энергии, когда большая часть Москвы тонула во мгле и даже Кремль иногда не освещался. На концерт в колонном зале еще кое-как хватило электричества, но из бывшей гостиницы „Элит“ в Петровских линиях — дали знать, что банкет не может состояться, потому что там полная тьма и никакими силами никто, нигде не может достать в этот час нужного количества свечей. Пытались взламывать какой-то свечной склад и лавку около Иверской, — но нигде не оказалось необходимого минимума свечей. А электрическая станция к этому часу уже истощила все свои силы. Ужасно взволнованы были устроители концерта и банкета, кротко и спокойно прислушивался к их извинениям Горький и весело и лукаво улыбался Ленин: „Ну, что же, ничего не поделаешь. В другой раз посидим еще при полном свете. А сейчас поедем ко мне. У меня есть великолепная свечка, — вот какая“, — он показал пальцами величину и толщину свечи — „этой свечи нам часа на три хватит, а там видно будет. Посидим уж, если так настроились“ — приглашал Ленин Горького и кого-то еще из товарищей в Кремль, соблазняя всех своей „великолепной свечкой“.